

Марракеш. Джордж Оруэлл

Когда труп пронесли мимо ресторана, стайка мух оторвалась от столика и устремилась за ним, но через пару минут вернулась обратно.

Горстка скорбящих – мужчины и мальчики, женщин не было – протискивалась через базар между грудями гранатов с одной стороны и такси и верблюдами с другой, все время повторяя одну и ту же короткую заунывную песню. Мух особенно привлекает то, что труп не укладывают в гроб, а заворачивают в тряпку, кладут на грубую деревянную платформу, и несут на плечах четырех друзей. Когда друзья доходят до кладбища, они роют продолговатую яму глубиной фут два, сбрасывают в нее тело, и засыпают комьями сухой земли, похожей на крошенный кирпич. Ни надгробья, ни имени, ни какой-либо идентифицирующей отметки. Кладбище – это всего лишь огромный пустой кочкарник, похожий на заброшенную стройплощадку. Через пару месяцев не найдешь даже, где похоронены собственные родные.

Когда идешь по такому городу – двести тысяч жителей, из которых как минимум у двадцати тысяч нет буквально ничего, кроме тряпок на собственном теле – когда видишь, как они живут, и тем более, как легко они умирают, то трудно поверить, что ты находишься среди людей. Все колониальные империи основаны на этом факте. У этих людей коричневые лица – и их так много! Той же ли они плоти, что и ты? Есть ли у них имена? Или же они – однородная коричневая масса, имеющая не больше индивидуальности, чем пчелы или коралловые полипы? Они происходят из земли, несколько лет потеют и голодают, и погружаются обратно в безымянные кладбищенские кочки, и никто не замечает, что их нет. И даже сами могилы сливаются с землей. Иногда гуляешь среди кактусов, и обращаешь внимание на то, что земля под ногами неровная, и только некоторая регулярность выступов указывает на то, что ты идешь по скелетам.

Я кормил газель в городском парке.

Газель – наверное, единственное животное, которое выглядит вкусным, будучи живым; на зад газели трудно смотреть, не думая о мятном соусе. Газель, которую я кормил, казалось, читала мои мысли, так как хотя хлеб из моих рук она взяла, я ей явно не понравился. Она быстро погрызла хлеб, после чего опустила голову и попыталась меня забодать, потом еще раз укусила хлеб, и еще раз меня боднула. Наверное, она думала, что если она меня прогонит, хлеб останется висеть в воздухе.

Араб землекоп, работавший на ближайшей тропинке, опустил тяжелую мотыгу, и медленно к нам приблизился. Он посмотрел на газель, на хлеб, потом опять на газель с чувством сильного удивления, как будто он раньше ничего подобного не видел. Потом он робко сказал по французски:

– Я мог бы съесть этот хлеб.

Я оторвал кусок, и он благодарно спрятал его в своих тряпках. Этот человек – работник муниципалитета.

Когда проходишь через еврейский квартал, то легко представляешь себе, какими должны были быть средневековые гетто. Под властью мавров, евреи могли владеть землей только в пределах нескольких ограниченных участков, и после нескольких столетий этих ограничений их уже перестала заботить скученность. Многие улицы гораздо уже шести футов, у домов полностью отсутствуют окна, а на каждом углу – огромные сборища детей с большими глазами, подобные роям мух. По канаве в центре улицы обыкновенно течет ручеек мочи.

На базаре огромные еврейские семьи, все члены которых одеты в длинные черные халаты, а на головах носят черные ермолки, работают в темных ларьках, похожих на пещеры, внутри которых вьются стайки мух. Плотник сидит, скрестив ноги, за допотопным токарным станком, и с огромной скоростью вытачивает ножки стульев. Правой рукой он раскручивает станок при помощи лука и тетивы, а левой ногой ведет резец; он провел всю жизнь, сидя в этой позе, и его левая нога неестественно выгнута. Возле него сидит шестилетний внук, и уже начинает выполнять задания попроще.

Я проходил мимо ларьков медников, когда кто-то заметил, что я зажигаю сигарету. В мгновение из темных палаток на свет выбежала толпа евреев, в том числе стариков с длинными седыми бородами, и все стали кланяться сигарете. Даже слепец, должно быть, услышал слово «сигарета», вылез из какой-то палатки, и стал хватать рукой воздух. Мenee, чем через минуту я раздал всю пачку. Ни один из этих людей, должно быть, не работает меньше двенадцати часов в день, но каждый из них считает сигарету предметом невозможной роскоши.

Так, как евреи живут в самодостаточных общинах, среди них есть все те же роды занятий, что и среди арабов, кроме сельского хозяйства. Торговцы фруктами, гончары, серебряных дел мастера, кузнецы, мясники, кожевники, портные, водоносы, нищие, грузчики – куда ни помотришь, всюду евреи. Их здесь тринадцать тысяч душ, и все они скучены на нескольких акрах. Хорошо, что Гитлер здесь не бывал! Но возможно, что он собирался здесь побывать – здесь можно услышать обычные разговоры о евреях, не только от арабов, но и от европейцев победнее.

Да, *mon vieux*[1 - Старина (фр.)], меня уволили, и вместо меня наняли еврея. Евреи! Они – настоящие правители этой страны. У них все деньги. Они контролируют банки, финансы – все.

– Но не правда ли, что типичный еврей – это рабочий, за свой труд получающий не более пенса в час?

– Ах, это только напоказ! На самом деле, они все – ростовщики. Они такие хитрые, эти евреи.

Это напоминает то, как пару столетий назад нищих старух сжигали за колдовство, хотя они не могли даже наколдовать себе сытный обед.

Все люди, работающие руками, малозаметны, и чем важнее работа, которую они выполняют, тем они незаметнее. Тем не менее, белая кожа всегда бросается в глаза. В Северной Европе, когда видишь, как пахарь пашет поле, на нем останавливаешь взгляд. В теплой стране, к югу от Гибралтара и к востоку от Суэца, скорее всего, его даже не замечаешь. Я подмечал это вновь и вновь. В тропическом пейзаже глаз воспринимает все, кроме людей. Он видит выжженную солнцем почву, кактус, пальмы, далекие горы, но всегда пропускает мимо крестьянина, мотыжащего свой участок. Он такого же цвета, что и почва, и на вид гораздо менее интересен.

Именно поэтому голодные страны Африки и Азии приемлемы, как курорты для туристов. Никто бы и не подумал организовывать дешевые экскурсии в районы Великобритании, пострадавшие от экономического спада. Но там, где у жителей коричневый цвет кожи, их нищета незаметна. Что Марокко означает для француза? Апельсиновая роща или государственная служба. Для англичанина? Верблюды, замки, пальмы, Иностранная Легион, латунные подносы, и бандиты. Здесь можно прожить

много лет, не замечая, что для девяти десятых населения повседневная жизнь – это непрекращающиеся каторжные усилия по добыванию пропитания из эродированной почвы.

Большая часть Марокко настолько пуста, что не может прокормить ни одно животное размером больше зайца. Огромные площади, которые некогда были покрыты лесами, сейчас – пустоши без зелени, где почва сильно напоминает крошенный кирпич. Тем не менее, значительная часть их возделывается при помощи чудовищного труда. Все делается руками. Длинные вереницы женщин, согнутых в три погибели, как обратная буква L, медленно продвигаются по полю, руками выдергивая колючие сорняки; крестьянин, собирающий люцерну, вытягивает ее стебель за стеблем, а не срезает, тем самым экономя дюйм-два на каждом стебле. Плуг – жалкий деревянный инструмент, такой легкий, что его можно легко нести на плечах; к нему прикрепляется грубый железный шип, разрыхляющий почву до глубины четырех дюймов. Это как раз столько, сколько потянут животные, тянущие плуг. Пашут обыкновенно коровой и ослом, впряженными вместе. Два осла недостаточно сильны, а пропитание двух коров обходится несколько дороже. У крестьян нет бороны; они несколько раз распахивают почву в разных направлениях, после чего остаются грубые борозды, а потом тяпкой поле разделяют на маленькие продолговатые участки, чтобы сохранить влагу. Кроме дня-двух после редкого ливня, влаги всегда недостаточно. По краям полей вырыты каналы глубиной футов тридцать-сорок, чтобы добраться до ручейков подпочвы.

Каждый день по дороге возле моего дома проходит шеренга старух, несущих дрова. Все они мумифицированы возрастом и солнцем, и все они крохотного роста. Во всех примитивных обществах, когда женщины становятся старше определенного возраста, они сжимаются до размеров детей. Однажды, нищая старуха, не более четырех футов ростом, тащилась мимо меня, неся тяжеленную ношу дров. Я остановил ее, и всунул ей в руку монетку – пять су (чуть больше фартинга). Она ответила пронзительным воплем, частично из благодарности, но главным образом от удивления. Думаю, что с ее точки зрения, заметив ее, я чуть ли не нарушил закон природы. Она принимала свой статус старухи, или иными словами, вьючного животного. Когда семья переезжает, обыкновенно видеть, как отец и взрослый сын едут на ослах впереди, а сзади пешком идет старуха, и несет на себе пожитки.

Но что в этих людях страннее всего – это их невидимость. Несколько недель подряд, каждый день в одно и то же время шеренга старух проходила мимо дома со своими дровами, и хотя они отмечались на моих глазных яблоках, я не могу с чистой совестью сказать, что я их видел. Проходили дрова – вот, как я это воспринимал. Только однажды случилось так, что я шел за ними, и движение вязанки дров вверх-вниз, вверх-вниз заставило меня обратить внимание на человека под ней. Тогда я впервые заметил старые нищие тела земляного цвета, состоящие из костей и жесткой кожи, согнутые в три погибели под тяжелым грузом. Но ведь я не провел и пяти минут на марокканской земле перед тем, как заметил, как перегружают ослов, и был этим очень разозлен. Нет сомнений, что с ослами здесь обращаются непростительно жестоко. Марокканский осел едва ли больше сенбернара, но он тянет на себе поклажу, которую в британской армии сочли бы слишком тяжелой для мула ростом в пятнадцать ладоней, и вьючное седло с него зачастую не снимают неделями. Но самое жалкое то, что он – самое покорное животное на земле; он следует за хозяином, как собака, и не нуждается ни в узде, ни в недоуздке. После дюжины лет преданной работы, он падает и сдыхает, и тогда хозяин выбрасывает его в канаву, где деревенские собаки вырывают его кишки до наступления темноты.

Кровь вскипает от подобных вещей, в то время, как от человеческого несчастья, в

общем и целом, она остается холодной. Я не выношу суждения, а всего лишь констатирую факт. Люди с коричневой кожей невидимы. Любог пожалеет осла с нарывами на спине, но чтобы заметить старуху под грузом хвороста, что-то должно случиться.

Аисты летели на север, а негры шагали на юг – огромная пыльная колонна пехоты, артиллерии, потом еще пехоты, всего четыре-пять тысяч человек, поднимались по улице, топоча ботинками и дребезжа колесами.

Это были сенегальцы, самые черные негры в Африке, такие черные, что трудно было разобрать, где у них на шее начинаются волосы. Их великолепные тела закрывали поношенные униформы цвета хаки, их ноги были засунуты в сапоги, похожие на деревянные, и даже шлемы, казалось, были на два размера уже, чем нужно. Было очень жарко, и солдаты уже далеко прошли. Они сгибались под весом вещмешков, и их чувствительные черные лица блестели от пота.

Когда они проходили мимо, один высокий и очень юный негр повернул голову, и на меня посмотрел. Его выражение лица было очень неожиданным. Оно не было враждебным, презрительным, усталым, или даже любопытным. Юноша посмотрел на меня робко, широко раскрыв глаза, с огромным уважением. Я представил себе, что случилось. Бедный мальчик, который был французским гражданином, из-за чего его вытащили из леса, чтобы драить полы и подхватывать сифилис в гарнизонных городах, испытывает преклонение перед белым цветом кожи. Его научили, что белые люди – его господа, и он в это верит.

Но есть одна мысль, которая приходит в голову любому белому человеку (вне зависимости от того, называет ли он себя социалистом или нет), когда он видит, как мимо него марширует негритянская армия: «Сколько мы еще сможем дурачить этих людей? Когда они развернут свои винтовки?»

Все было очень смешно. У каждого присутствующего белого человека в глубине души была именно эта мысль. Она была и у меня, и у других зевак, и у офицеров на потных строевых конях, и у белых сержантов, марширующих вместе с рядовыми. Это был наш общий секрет, который мы все знали, но не рассказывали; только негры его не знали. А выглядело все это, как стадо скота: миля или две мили вооруженных людей мирно поднимаются по дороге, а большие белые птицы над ними летят в обратном направлении, сверкая, как клочки бумаги.

1939 г.

Примечания

1 Старина (фр.)